

в коммунизме нет ни свободы, ни равенства. Она кроме того контрреволюционна в прямом смысле этого слова. «Свобода без равенства» есть призыв к реставрации капитализма в его чистом виде, без всяких поправок и ограничений. И если сторонники этой формулы всё же вводят поправки в классический капитализм, то не понятно, во имя чего они делают.

Пореволюционная мысль должна с предельным проникновением продумать и прочувствовать идею «братства». И не как хлесткий лозунг, выкинутый на флаг, а как глубочайшую предпосылку социального идеала. Есть «братство», — приложатся и «свобода», и «равенство». Братский союз есть необходимый союз «свободных и равных» — причем не в смысле буржуазного индивидуализма и социалистического эгалитаризма. «Братство» организует «свободу» и одухотворяет «равенство». Одно оно способно рассеять кровавые тучи, нависшие над современным миром.

Н. Н. Алексеев.

## О созерцании

Мир явлен нам, как чудо. С минуты, когда впервые вдруг задумались мы вот над этой чернильницей, которую колдовское тяготение приклеило к столу, над апокалиптическим чудищем — собакой, перебегающей улицу; когда четкая ясность зрения вещей уже превратилась, в узрении, в восхитительный ужас их прозревания, мы незримо уходим в сон откровений неизъяснимых и немножко умираем — *partir c'est mourir un peu* — для жизни, которая как бы вянет, тускнея, погасая, как отзвучавший день; и в этих сумерках разлуки, в ладанной дымке сомнения, на фоне расплывшихся контуров реальностей, воскресаем мы к встрече с их сокровенным смыслом. Заигрывающая с нами тайна посвящает усумнившихся в чин изумления. Мы священно-прокляты и не уйти от ее фосфорического взуляда и нет уже возврата в уют детско-солнечной вещности. Развершееся жерло потустороннего медлительно втягивает в свою ласть, высасывая мозг, перегоняя в бумагу неповторимую жизнь, сгибая, сморщивая и испепеляя мертвящим дыханием. Источенные женскостью святых, обреченные ненасытным вопрошанием, хрупкие, как видение, бредем мы среди загадок. Загадочным становится все и наконец, мы сами... И главное, наши странные глаза. Эти замочные скважины, через которые тщимся мы подглядеть мистирию жизни. Но вырвать соблазную

щие очи, эти щупальца света, устремленные в темноту вселенной, значит вырвать мир из нас. В этих поводьях, осторожно ведущих нас в неизвестность, в этом бинокле, вставленном в череп, но еще не наведенном на фокус, как в живой призме преломляются и расщепляются бесцветности на смеющиеся в игре красок лучи алтаря неведомого. Как звезды — просвечивания иного лучезарного неба сквозь дыры придавившей землю черной могильной плиты бесконечности, так и глаза — отверстия, которые пылливо-распознающая себя материя пробуравливает в космос. По этим звездам, в творческой тревоге, человек идет, среди незримых развалин и могил, к неознаваемым, но властным целям, освещая себе путь мерцающими светляками глаз.

Ибо человек есть — зревающий. Только начинающаяся история его есть история, идея и миссия его глаза, которой тайна сверкнула из своей ночи. В эволюции чувств, от первичного ощущения света всей поверхностью плоти до распознавания его деталей, выделение глаза было восхождением от женскости пронизывания светом к мужеско-творческому пронизанию в него. Божественно-дерзкое сознание, уцепившись за жизнь, хочет заглянуть в темный колодезь сущего, хотя бы ценою увядания и смерти. Так, райски женственны цветы в своей застывшей, нездешней красоте; но, упиваясь светом, не живут ли они в мраке одиночества? Во блаженном неведении вечный покой их не благоухает ли невинностью слепоты к миру? Зачатие мозга в сумраке биологических зорь уже несет в себе идею глаза. Лишь только отшнуровался пучек спинного мозга, ответил от него и нерв, сотворяющий и несущий свою миссию глаза-распознавателя, выдвинутого в новый план перископа. В чуде хрусталика, нерва, воспринимающего, передающего, опрокидывающего и восстанавливающего образ в сознании, в своем четырехтактном ритме, сквозь цензуру малого экрана сетчатки, свершается и чудо отражения и окрашивания фильма мира на волшебном экране мозга. Отсюда мир — видение. Оно определено свойствами оптического прибора, в фатуме созерцаемых пропорций. Но гений природы, играющий в жизнь, еще только подыскивает «розовые очки» своим куклам. Тончайшая механика глаза пока лишь колеблет, сплюсчивает, омрачает мир, разрывает отношения, меры и протяженности вещей. В иных лучах и красках насекомых мир, с иным, иногда относительно большим нашего полем и глубиной зрения и с большей, тогда, зоркостью к абсолютному. Не были ли эти карликовые жизни поражены когда то ударом вечности? И узнав, застыли, покаранные ослепительной молнией знания?

Магический прибор глаза венчает слепоту остальных чувств. Но все — лишь разновидности осознания. На древе осознания цветут чув-

ства и зреет плод зрения. Быть может только мысль внеосязательное чудо... Но осязание растет; оно ищет новые органы. Глаз — только временный посредник, ступень, долженствующая быть преодоленной. Пять чувств, как пять ног, только «чижик» осязания. Симфония будущих органов, сверх-глаза, супер-слуха, ультра-осязания раскроет новый образ мира. Всевидение, всеслух, всечувство — мечта силы ткущей матерью, ткань плазмы и плоти. Зряча сама творческая функция; создавая орган-средство и их совокупности, она влекома целью — предвидящей догадкой творчества, которое всегда есть предвосхищенное зрение, повос узревание ведущей силы и новая целесообразность. Эта логика жизни выращивает огромные глаза у глубинных рыб; то делает их безглазыми на еще большей глубине. Цель отбрасывает то, что было вчера еще ей необходимо: с развитием скорости отпадают крылья. Спадут, как чешуя и старые органы. Новые — раздвинут мир, явив подлинно новое небо и новую землю. Но смутность узревания восполняется и качеством экрана. Ведь мозг, отражая мир, видит его в меру свою. Если мир пропорционален площади сознания, то и проекция его в мир гипнотически властвует, как глаза удава, над жизнью. Ибо куда и как смотреть — значит что узревать. Каждый видит свое в мире, свой сектор, свои детали. Одна часть на туманном фоне. Другое целое. Третий — больше того, что видит: отношения, связанные с реальностями, психические узлы, ауры вещей. Шестиглазый Люцифер искушал Иешуу горизонтом многовидения. Зоркость поэта, художника, философа, выклеывает жемчужные зеркала, сияющие блестики в пыли всего, рассыпанного перед их взором. Только в тишине, опустошенного от праха мелочей, сознания, можно спустить мысль до возгорания идеи; в мраке пещер зажглись первые лампы веры и завихрились вихри чудодеспных духовностей. Мистический глаз пророка, в развязанном от оков разума и плана этой жизни, зрении — видит уже во времени. Ведь зрение только средство. «Вид» — значит «вед», ведать, знать. Сверхшение цели убивает средство, пророку наше зрение уже не нужно, он видит — невидимое вечно — с закрытыми глазами... «Ибо видимое временно, невидимое вечно». Если реальности отражены созерцаниями в образы, а образы сгущены в идеи, то комбинируя идеи, провидец творит реальности. В ночных молитвах, под звездным небом пустыни, внимающей Богу, Христос созерцал вневременную вечность, черная живую воду познания в незримой запредельности, слыша, как глухой Бетховен, музыку без звуков, «текущую мысль мира». В этих сверх-осязаниях невидимых лучей и звуков — обретение подлинно-устойчивого, хоть и сказавшего прости земной улыбке, блаженства, прорвавшегося в вневременность, познания мира. В непорочном зачатии слов-логосиков, звуков и идей, мы отражаем, переведенные на язык красоты, отблески созерцаний будущего.

Созерцание панорамы мира, его опрокинутых в колышущейся поверхности пучины непостижимого отражений, есть узревание соотношений мрака и света. Ведь в зрении ответ плоти на свето-тьму. Образ есть следствие разрыва, игры и борьбы их. Сам Бог заскучал во мраке, в тоске по созерцанию. Мечтой о хлебе он наказал свое подобие; но сам, отринув мрак, захотел зрелищ, утверждений света, его игры — чтоб стать всевидящим, ибо до этого нечего было видеть... Стал ли Он менее совершенным? Или только узрев бытие, т.е. логику света, стал подлинно собою? Ужас Ничего в нас — только отражение какого то ужаса в Боге, воспоминания его о предмирном мраке. В чем его тайна? Ужасно ли, что в нем мы снова ничего не видим, как бы теряя зеницу ока, заработанную сотнями миллионов лет развития, срываясь, как муравей со стены, с аристократических вершин зрения в слепоту амебы? Или ужасно, что мы не видим бытия, а только зияние тайны? Или нам страшно, в траурной черноте пустого, погасшего мира, видение небытия? Но мокрицы и крысы радостно скрываются в мрак. Очевидно, мы не видим его свечений. В Ничто — некоего Нечто. Черный цвет, цвет алчного вспитывания в себя лучей; и, стало быть, в мраке есть потенции света, под леплом материи таятся возможности заснувшей до своего воскресения жизни. Странный прах, дающий ростки... Ничто не пьет лучей жизни, а раз пьет — уже не Ничто. И мрак не полярность, а фаза света. Иначе бесконечность мрака давно бы объяла конечный свет. Но до сих пор сияющая конечность звезд плавает в бесконечности. Не угасают бесконечно-летающие фоны света кочующей в мире жизни. Но если свет материален, то и материя светла. Но надо уметь узреть, перерости свои узрения.

Идея прозрения невидимого света — горящая точка христианства. Это жгуче-благоухающий уголек его ладана. «Призвал из тьмы в дивный свой свет» — таково было живое осязание Евангелия, которое все флуоресцирует созерцаниями света духа, который, сконцентрированный, как в лупе, возжигает реальности. Идея лупы, «тусклого стекла», повышения светочувствительности — а неодинаковое отношение к свету показатель структуры тела — проявления таинственного негатива мира, вот цели учения, уязвимо лишь тем, что не по плечу... Пусть привидение Христа и скользнуло по жизни матово-мертвящим лучем четырехмерной справедливости, внесенной в наш план, но чары розово-голубой звезды ведь в том, что она двойная... А мерцает ли пленительно смерть? Если свет сын Сущего, то жизнь дочь света, Божья внучка. Отыскание отцовства, освящая, освещает путь в мире, преображая его, даруя право жизни пить живо свое не из черепа ее отрицания, но из ликующего кубка прозревающих ее восхождений.

На замороженном окне сознания рисует мир свои узоры. Но если дыхания духа оттаиванием тайны и внесут новую мощь, то не двинется ли и сама тайна, открыв новые, мучительные дали? Но снова и дальше побредет странник, ибо возлюбил тайну свою больше самого себя. Сгущая образы в творчестве, охлаждая их в формы, он закрепляет ступени своего восхождения. Жизнь дает ему зрелища сочетаний образов, которые она сама находит. Но, как рыболов, он подстерегает в них идею. Словно эхо перекликаются сочетания идей в созерцателе. Скрещение сочетаний высекает творческую искру. Раз жизнь последовательное сочетание образов, растянутых во времени, нагнетение их в каждый его отрезок, оплодотворенным изнутри созерцанием мира, расширит жизнь, освобождая ее от ига времени и вспахивая в глубь и ширь еще неведомые земли мозговых полушарий. Священная зоркость созерцательного экстаза, внося в мир новую мысль, мелодию, образ, укореняет нас в будущем, в обретении новых связей с нестремимым. Идея сопричастия, единотельности с ведущим мир смыслом, озаряет светом нащупанной цели. Ужас мрака потустороннего, — ужас ушедшего времени и ослепшего, покинутого мира — «да не видят солнца, как выкидыш» — преодолевается в медлительном прозревании торжествующе-воскрешающего будущего, его цветущих, солнечных нив. «Есть столько зорь, которые еще не светили». И здесь радуга, мост, переброшенный к сверхчеловеку, идущему в вечность по ступеням созерцаний.

Я. Меньшиков.

## От Гоголя до наших дней

«К концу плавки твердые примеси переходят в шлак; их сливают и затем приступают к литью».  
(Технология металлов).

Задумываясь над обликом русской жизни сегодняшнего дня и над обликом русского человека, я не буду сравнивать дореволюционного или довоенного человека с пореволюционным. И в человеческом, как и в мертвом материале, есть свой предел внутреннего напряжения, за которым следует текучесть, то-есть такое изменение формы (для материала) и духовного облика (для человека), когда возврат к старому и форме и старому облику становится невозможным. Этот предел внутреннего напряжения перейден последней войной и последней революцией, слившимся у нас в одно непрерывное событие, в одно сверхчеловеческое усилие.